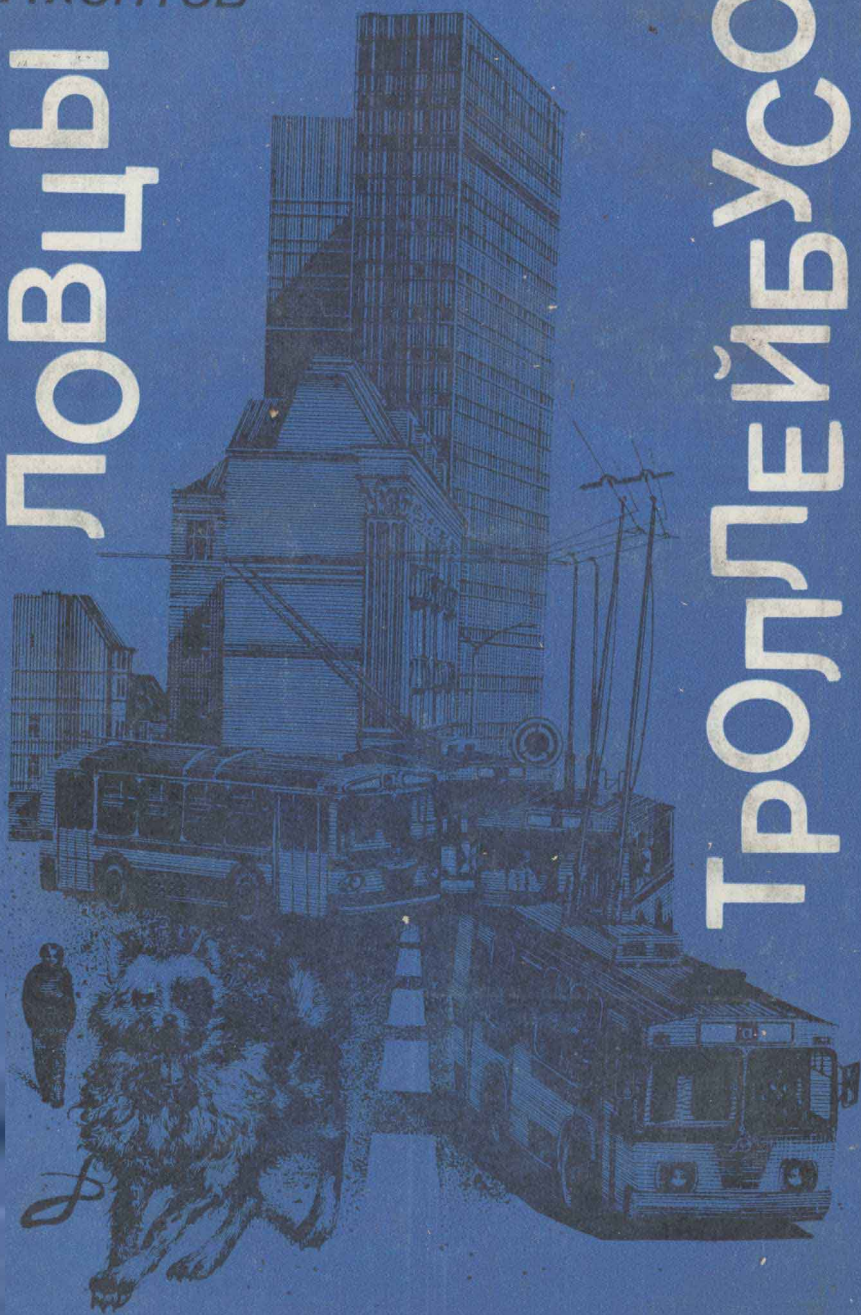


Андреи
ЯХОНТОВ

ПОВЦЫ

ТРОЛЛЕЙБУСОВ



Андрей
ЯХОНТОВ

ЛОВЦЫ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Повести
Рассказы

Москва
Советский писатель
1986

Художник Андрей САЛЬНИКОВ

Яхонтов А. Н.

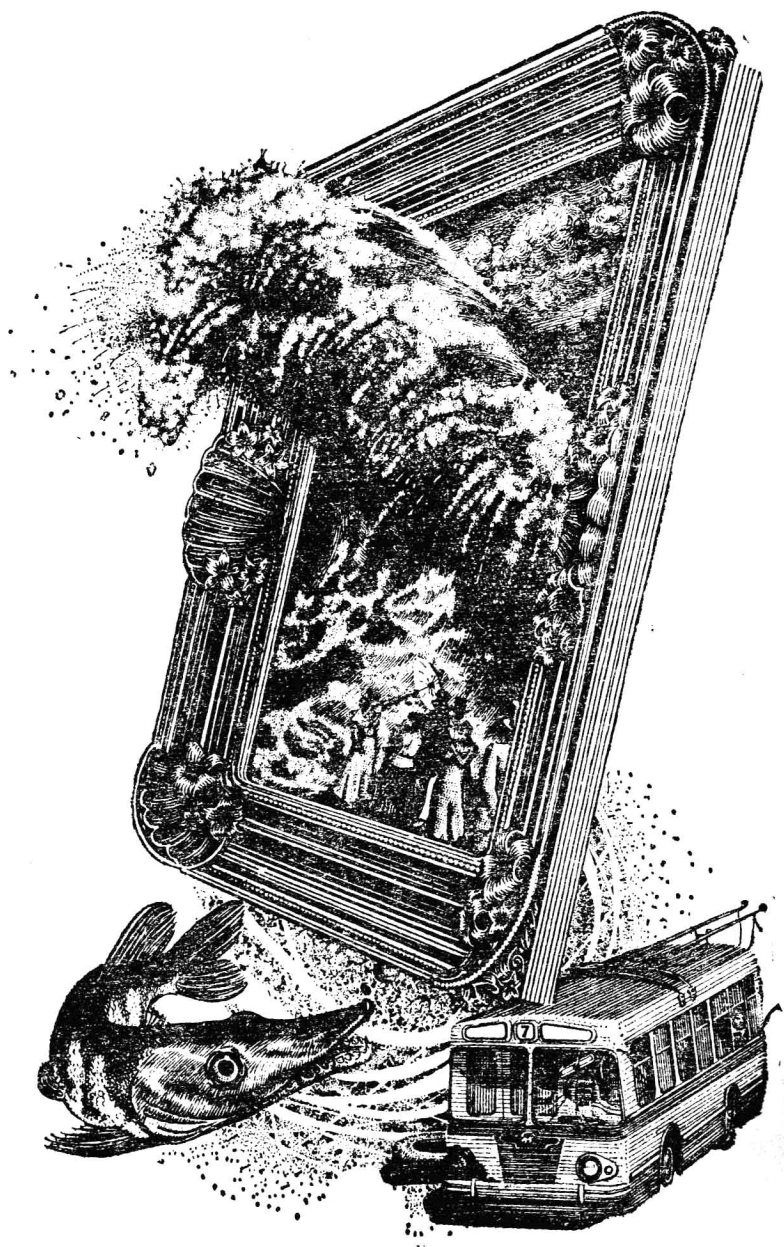
Я 90 Ловцы троллейбусов: Повести, рассказы. — М.: Советский писатель, 1986. — 320 с.

Герои произведений Андрея Яхонтова — наши современники, молодые люди, ищущие свое место в жизни. Сложные ситуации, в которые они попадают, оказываются своеобразным экзаменом на душевную чуткость, честность, бескомпромиссность. С мягким юмором и легкой иронией автор рассказывает о человеческих слабостях, о путях их преодоления, о стремлении принципиально решать сложные жизненные вопросы.

Я $\frac{4702010200-221}{083(02)-86}$ 163—86

ББК 84.Р7

Повести



ЛОВЦЫ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Падая вверх

Надежды не оставалось. Силы покидали меня. Все же неимоверным напряжением воли я заставлял себя держаться. Цеплялся за похрустывающую, ржавую до кружевной дырчатости жесьть подоконья, стискивал зубы...

К окну подошла Вероника. В очаровательной своей голубой блузке и с незабудками в руках.

— Это тебе,— протянула мне букетик.

Я поблагодарил ее улыбкой.

Колокольчиком прозвенел на стыке проводов троллейбус. Скосив глаза вниз, я увидел: подо мной на безопасном расстоянии начал собираться народ. Прохаживался милиционер с полосатым жезлом.

Над головой, по крыше, грохотали чьи-то шаги. Возможно, шаги судьбы.

Вероника принялась мыть окно. Повязала косынку, принесла тазик с мыльной водой.

Пальцы немели. Я весь дрожал. Жесьть подоконья от этого крошилась.

Внизу от скопления народа становилось все черней. А небо сияло голубизной.

Каблучок Вероники перемещался прямо перед моим носом.

— Счастливо оставаться,— непослушными губами прошептал я, и пальцы мои сами собой разжались. Я полетел. Полетел, задыхаясь и плача...

— Выше!

— Ниже!

— Чуть левее! — корректировали мой полет зрители в окнах.

Внизу по-черепашьи наползали друг на друга бурые, серые и зеленые крыши. Как хотелось мне шлепнуться на их теплую, прогретую солнцем жесьть!

Толпа на улице стала рассеиваться. Лишь отдельные любопытные карабкались по водосточным трубам.

Я закрыл глаза и уснул.

Или проснулся?

У окна

Весной много людей начинает ходить по крышам.

Едва прогреет первое солнышко и взмоет ввысь упругий голубой купол неба, а дробные капли пойдут клевать залежалый, съезжившийся на земле и карнизах снежок,— высыпает, рассеивается меж тонкими деревцами антенн и пнями печных труб неуклюжий десант в ушанках и рукавицах, с лопатами и ломиками наперевес. Некоторые поверх телогреек надевают оранжевые жилеты.

Скользко, движения смельчаков замедленны, для страховки они обвязываются веревками на манер альпинистов... Иногда им приходится карабкаться по склону на четвереньках, иногда, извиваясь, ползти ужом. Но они упрямы и дерзки, эти солдаты весны. И без усталости воюют, рубят под корень хрустальные, искрящиеся на солнце сосульки, высвобождают из-под снега уставшие спины зданий.

Ледышки, ударяясь об асфальт, подпрыгивают, как мячи, и разлетаются мелкими брызгами во все стороны.

Дома облегченно вздыхают, расправляют плечи... Нежатся на солнце, сбившись в тюленьи стада,— и трубят, трубят весну.

А люди все ходят и ходят, только в руках у них теперь вместо лопат и ломиков потертые чемоданчики, с какими обычно отправляются в баню. Но они лишь притворяются любителями парной, а на самом деле это охотники, ловкие птицеловы. Подберутся к антенне, которая, словно цапля, застыла на одной ноге, опутают проводами — и уж ей не улететь.

Многие, многие ходят на крыши по разным надобностям.

Стая голубей усядется рядком вдоль карниза — точь-в-точь костяшки на счетах, и, глядишь, вскоре сутуло выползает из слухового чердачного оконца молодой парень в кепке, с отломанной ножкой стула в руке. Городошник. Взмахнул своей битой, и стая забуксовала в упругом воздухе, а затем, ведомая вожаком, пошла круто ввинчиваться в небо.

Приходят, уходят, слоняются, отдыхают, гоняют голубей и ворон, разыскивают пропавших кошек, и в конце концов там, где пролегли излюбленные тропки, начинаются дорожные работы. Свинцово-серые, в бурых пят-

нах старые листы аккуратной стопочкой складывают в сторонке, а склоны мостят блестящими, как зеркала, новыми. Иной раз вскроют отслужившую свое чешую, а под ней, в черном зияющем провале,— подгнившие ребра стропил.

Когда открывались эти провалы, я невольно зажмуривался. Ох эти операции на сердце! Проходило минуты две или три. Я осторожно приоткрывал глаза. Обнаруживал, что пальцы мои вцепились в подоконник. Видел белое перекрестье рамы...

За спиной стрекотали арифмометры, скучно переговаривались сослуживцы, дребезжал телефон.

Я переводил дух — или вздыхал? — и вновь устремлял взгляд в сторону отверстой крыши.

Вопросы без ответов

Отчего я стоял у окна, а не исполнял, как положено, свои служебные обязанности, спросите вы. Отчего не занимался делом?

И сослуживцы меня мучили, пытаюсь выяснить: отчего? Им доставляло удовольствие приставать с подобными расспросами и видеть, как я теряюсь.

«Отчего? Отчего? — галдели, надоедали. — Отчего?»

Если бы я мог ответить!

Что-то со мной происходило. Какая-то заторможенность мыслей и чувств. Или, наоборот, обостренность!

Загоралась лампочка под абажуром. И я осознавал, что, в сущности, понятия не имею о том, что такое электрический ток, откуда он появляется и как течет по проводам, не просачиваясь наружу. То есть я прекрасно знал о плотинах, которые похожи на вертикально поставленную фортепианную клавиатуру... Но как они высекали ток и, главное, почему он бежал по проводам — это оставалось для меня за семью печатями.

Иногда, пробегая по служебному вестибюлю и видя свое отражение в огромном зеркале, я останавливался, изумленный. Смотрел на себя и не узнавал. Я чувствовал, что приближаюсь к какой-то еще не вполне ясной мне тайне, заключавшейся во мне же самом. Мои зрение и слух обращались вовнутрь. Я к себе прислушивался. Хотел понять. Никогда прежде я за самим собой с таким интересом и удивлением не наблюдал.

Приходили посетители. Садились на стул и начинали спрашивать, советоваться, объяснять. Люди в старомодных, черного брезента, плащах и с черными зонтами просили включить в словарь технических терминов понятие «коза» на том основании, что в их районе козы когда-то были основной тягловой силой. Или, напротив, являлся представитель конструкторского бюро и настаивал на внесении в словарь иностранных слов термина «грифель» — поскольку в их коллективе работает человек с идентичной фамилией. А то принесут выпавшую при наборе строку (такое бывает в типографском деле): «Врач» — смотри «враль».

Многие приходили жаловаться на то, что грузовые машины уходят в рейс не до конца загруженными и, следовательно, протяженность холостого пробега не сокращается, как это должно быть, а возрастает. Объяснения, просьбы сливались в одну тягостную историю, без конца и начала, продолжавшуюся вечно. А уж писем обрушивалось...

А за окном фильтровала небо весна, черные серпики стрижей пожинали первые лучи солнца.

Ночью, лежа в постели, я подкладывал под голову влажную ладонь и вдруг ощущал, как бьется жилка на виске, и осознавал, что живу, что я живой, и опять как бы начинал пробуждаться. Я потягивался, поворачивался на другой бок, чтобы ощутить живую тяжесть своего тела, и радость бытия охватывала меня. Но уже в следующий момент я холодел, вспоминая о хрупкости сосуда, заключавшего в себе это чудо — мою жизнь. Как-то в метро, когда я поднимался на эскалаторе вверх, навстречу мне, вниз, проехал мужчина, у которого чудовищных размеров зоб лежал на лацканах пиджака, будто отложной воротничок. Мужчина был гладко выбрит, вообще видно было, он следит за собой, несмотря на свою ужасную болезнь. И все же в глазах его я успел прочесть страдание и страх. Я не хотел верить, что когда-нибудь так случится: меня, того самого, который лежит сейчас в теплой постели под одеялом, — меня, но уже ничего не чувствующего, неподвижного, кого-то, кем я был раньше, — не меня? — понесут, потащат куда-то на белых больничных простынях.

Мне странно стало видеть людей в зимней одежде (хорошо еще — зима кончалась). И в троллейбусах от этого тесно. И при движении неповоротливо. Но глав-

ное — в этой неуклюжей укутанности опять виделось мне желание скрыть, спрятать. Ведь придут домой и будут пить чай, уже скинув эти грубые оболочки. А потом и совсем разденутся и лягут в кровати друг с другом.

И глядя на примелькавшиеся лица сослуживцев, я ощущал тот же самый холодок тайны. Я чувствовал себя сбитым с толку, обманутым. Казалось бы, вот он, человек, весь передо мной. Но я смотрел на них так же, как на себя в зеркале. Смотрел — и не узнавал.

Что я знал о них? Жизнь их проходила скрыто от меня.

Но опять это было не то. Одежда, лица... Не та суть, к которой я стремился. А лица... Одним словом, они немые, как рыбы, и так же беззвучно шевелят губами.

В переполненном автобусе я неожиданно понимал, какая масса никогда прежде не виденных людей окружает меня. Я представлял, вернее, пытался представить, сколько же всего людей на земном шаре, и застывал, пораженный. Не размах, не масштабы впечатляли, а осознание, что и я тоже участвую в этом таннстве, что я перемещаюсь, выполняю свою работу, чувствую и думаю, хотя меня очень многие не видят и не знают и никогда не увидят и не узнают. Вот эта незаметность и в то же время несомненность существования не увязывались в одно. Смущали.

Но все вокруг и я — это была жизнь, жизнь... Причудливо и прихотливо, словно тесто на дрожжах, всходила она к лучшему, искала и торила новые пути, переосмысляла и совершенствовала самое себя.

Меня не оставляло чувство восхищения тем, как разумно устроен мир. К определенному часу зрители собираются в театре, и к этому же часу приходят актеры или оркестр и дирижер. Троллейбусы курсируют по определенному маршруту, а те, кого этот маршрут устраивает, собираются в определенных местах и ждут, пока машина подойдет и заберет их.

Не может быть, чтобы все это было напрасно, думал я. Нет, нет, так быть не может. Не может быть, чтобы эта масса людей с различным цветом кожи, эти машины и полеты в космос — все это было зря. Не может быть, чтоб это было переливание из пустого в порожнее! Ученые ищут, что-то открывают, узнают все больше, мы о себе узнаем все больше. В своем знании мы идем вперед,

это ясно. Если бы этот путь вел в никуда — зачем бы мы тогда двигались?

О стремлении мира к упорядоченности я, бывало, часто беседовал с моим другом Володей.

— Мир устроен разумно,— говорил мой друг.— Это очевидно. Ты только вдумайся: если где-то чего-то убудет, то в другом месте столько же появится. А? Каково?

Мой друг приехал из далекого поселка, где транспорт отсутствовал. Приехал, чтобы осуществить сумасшедшую свою мечту — прокатиться на троллейбусе. Сразу поступил в институт инженеров транспорта. Жил трудно. Летом еще ничего, перебивался. А зимой украдкой объедал морковки, которые дети втыкали снеговикам вместо носа. И часами караулил троллейбусы на облюбованных ими тропах, подкрадывался, когда они на минуточку останавливались передохнуть от бега, когда приоткрывали свои односторонние переборчатые жабры с резиновыми прокладками и жадно втягивали кислород... В этот момент многие старались их заполнить. Но редко кому удавалось взять верх над этим удивительной красоты созданием — чистым, светлым, удобным, стремительно-резвым, как молодой электровоз.

— Он не загрязняет атмосферу,— объяснял Володя свою страсть.— И автобусы, и грузовики, и даже легковушки — мало того что чадят, так вдобавок еще и роняют на землю масло, солярку, мазут... А эти, пусть незримо, связаны с чистой водой, из которой вертикально поставленная клавиатура плотин высекает электрический ток...

Об этом Володя часто беседовал с одним стариком, который еще помнил время, когда троллейбусы и другой транспорт были покорны, передвигались точно по графику и возили пассажиров с бережностью. Старичок в прошлом был строителем плотин и художником, мечтавшим создать картину, которую бы не ограничивала рама, а в дни, когда мы его узнали, превратился в страстного рыболова и азартного ловца троллейбусов. Он и других обучил охотиться, учеников у него хватало. А еще он боролся за чистоту воды.

Слушая его, я вспоминал, как мальчишкой радовался, когда видел, что дождь смывает с асфальта радужные бензиновые пятна, накопившуюся городскую грязь, копоть. Мне казалось, можно вот так раз и навсегда умыть всю землю. И ведь не приходило в голову, что

земля одна, одна-единственная, и сору, копоты просто некуда с нее деться. Стер тряпочкой с одного бока, а где — в каком море эту тряпочку выполощешь, куда, на какой континент положишь? Испариться вместе с влажной грязью не может — круговорот воды в природе. Сжечь? Опять получится загрязнение атмосферы и трата кислорода, который и без того дефицит. Утопить — тоже негде. Смыва с асфальта — и понесло в реку, откуда все мы берем питьевую воду. А затем — в море, где мы купаемся и ловим рыбу. В реках-то рыбы уж почти не осталось.

Рано утром старичок брал удочки и выходил из дома. «Рыбу жалко, — твердил он. — Но я себе никогда не прощу, если погибнет говорящая щука. Думаю, она идет вверх по течению. Скоро будет здесь. Поймать и поселить в аквариум! Я рассылаю письма во все инстанции. Только так можно ее спасти...»

А потом он уехал на Север, где прошла его молодость. Он почему-то решил, что говорящая щука должна находиться именно там. Поймав ее, собирался просить о заветном своем желании — упорядоченном движении транспорта.

Вскоре за ним последовал и Володя. Мой друг надеялся разыскать учителя и тоже верил, что поймает говорящую щуку. Он уехал и не писал, след его затерялся в безбрежных снегах. А я скучал по нему. Мне не хватало его.

Счастье, что столы в нашей комнате стояли не вплотную к окнам — и в любой момент я мог подойти и посмотреть, что там, на крыше, и развеяться.

Ах, этот головокружительно-острый запах весны! И выключенные наконец батареи парового отопления. Повернусь, увижу свой стол, заваленный бумагами, — затмение, голова черной ватой набита. Прикикну к форточке — отпускает.

Перед сном ко мне заглядывал Барсуков. У меня ему было скучно, он томился, но, по-видимому, еще хуже было ему у себя.

С Барсуковым мы играли в шахматы. Иногда, если выигрывал или был в хорошем настроении, Барсуков звал меня в гости пить чай. Я отказывался. Уходя, Барсуков неизменно спрашивался, не забыл ли я завести будильник.

— Проверь, проверь, — настаивал он.

Ненавижу звон будильника. От него кровь останавливается в жилах и ужас обрушивается на тебя, беззащитного во сне. (Мы ведь тоже тикаем, только по-своему. Посчитайте: семьдесят два удара в минуту, если механизм исправен. А звон будильника подгоняет до ста.)

Я и ночью плохо спал из-за ожидания этого звона и шарканья тапочек по коридору. Евдокия каждую ночь по несколько раз ходила туда-сюда: ее мучила зубная боль.

Я просыпался, выходил в кухню. Тараканы бросались врассыпную веером коричневых брызг.

Снова ложился. Но сон не шел. Я был один, совсем один. И некому было меня утешить.

Все между собой связано

Как долго это могло продолжаться?

Эти заброшенные одинокие вечера и бессонные ночи, эти рассеянные мысли, которые посещали внезапно и столь же внезапно улетучивались, оставляя осадок сомнений и тревоги...

Клиенты ходили, сбившись в обозленную кучу. Их успокаивал Илья Ильич Домотканов. Он вообще-то был у нас по хозяйственной части, но посетители этого не знали. Илья Ильич... Когда я смотрел в его доброе лицо, и у меня на душе становилось спокойно. Но лишь он да пожилой Орехов меня щадили. Этот, последний, по причине своей глуховатости, в жизни коллектива почти не участвовал: целыми днями читал что-нибудь, склонившись над столом, или тяжелыми никелированными щипцами колол орехи. Кто-то научил его, что грецкие орехи способствуют восстановлению слуха, с тех пор в комнате стоял постоянный грохот. Он их не раздавливал, а именно колол, занося щипцы над головой, как если бы охотился на мух со свернутой в трубочку газетой.

А то, бывало, запоем — какая-нибудь мелодия ему вспомнится, — да громко, с чувством (он ведь себя тоже не слышал), и пока до конца не исполнит, работу не продолжает. Настоящая его фамилия, кажется, была Жердев, но ее никто не вспоминал. До того, как я прилип к окну, он был основной мишенью отдельского ост-

роумия. Теперь Ходоров и компания переключились на меня.

Ох, этот Ходоров! Вечно в нечищенных ботинках и мятых брюках. Он и всегда меня недолюбливал, а теперь у него появился повод своей неприязни не скрывать. Стою, ощупываю холодные, как лоб покойника, батареи, а в это время... Ну, впрочем, я уже говорил: весна фильтрует небо и черные серпики стрижей нежатся в ультрафиолете. И тут телефонный звонок:

— Дмитрий Николаевич, вас.

Прикладываю трубку к уху, а оттуда такой душе-раздирающий крик, что до сердца пробирает:

— Работать будешь?!

И прыскает в кулачок Людмила Васильевна Лизунова. Отворачивается неодобрительно Илья Ильич. А через некоторое время из соседней комнаты как ни в чем не бывало возвращается Ходоров. Ему доставляло особое удовольствие подкрасться сзади и хлопнуть меня по плечу или подтолкнуть слегка (но мне-то казалось, я лечу с крыши) — и расхохотаться дурным сатанинским смехом.

А я на него рассердиться по-настоящему не мог.

Среди различных деловых выкладок был у меня список «Кого и за что мне жалко». Фамилии сослуживцев этот список открывали. В самом деле — Лизунова одна двоих детей растит. Я однажды видел: толкнулся в кабинет нашего шефа, Рукавишникова, а там Лизунова. Сидит и плачет. Ей доставляло удовольствие надо мной потешаться. Ну и пусть, мне даже отрадно было, что хоть чем-то ее порадовать могу.

У Ходорова кислотность на нуле, все время таблетки глотает. И кроме того, зима кончилась, а у него холодильник украли.

И некоторых клиентов, которые были мне особенно симпатичны, я в этот список примеривал. И соседей своих, Евдокию — за старость и немощность, за больные зубы, Барсукова — за полное безволие и подчиненность жене. Жену его — за глупость и злобность.

Я сочувствовал им, но порою сочувствие сменялось сомнением. Может, это им следовало меня жалеть? Да, иногда я начинал подозревать, что сослуживцы и соседи в сговоре, что они знают что-то такое, чего я уразуметь не могу.

К Лизуновой спускалась с пятого этажа ее приятель-

ница Нина Павловна, секретарша Рукавишникова. Они садились друг против друга, словно зеркальные отражения негатива и позитива — блондинка и брюнетка, — и начинали долгий разговор.

— Лето в этом году обещают необычайно жарким. Таким жарким, что в холодильниках температура повысится до парниковой.

— В таком случае можно считать, Ходорову повезло.

— Шутки шутками, но представляю, каково ему. Он говорит: дураки, шуку говорящую искали. А у него ее как не было, так и нет.

Со своего места грузно поднимался Илья Ильич Домотканов и, тяжело ступая — так что вздрагивали столы, выходил из кабинета. Лизунова провожала его уничижительным взглядом, а Нина Павловна хмурилась.

— Это что еще. А мне рассказывали: группа тунеядцев захватила троллейбус и разъезжает в нем по городу. И это при том, что транспорта не хватает, в час пик ни в автобус, ни в троллейбус не пробиться. Каждый день из-за этого на работу опаздываю.

— Тунеядцы на все способны. А у моего племянника в школе один учитель придумал: вместо планетария взял и притащил целый класс на крышу... Звездное небо изучать.

— И какие-то, говорят, теперь по всем предприятиям будут инъекции тревоги делать. От самоуспокоенности излечивать.

Так они говорили. А я слушал. И не подозревал, что весь уже опутан паутиной их козней. Оставалось только затянуть петлю. И они это сделали.

Стояла тихая солнечная погода, облака по небу тянулись желтые и дырявые, как расплавленный сыр. Двое, за которыми я наблюдал, работали неторопливо, то и дело перекуривая на расстеленном брезенте. Они с утра много успели — огромная заплата на сером боку крыши слепяще сияла фольгой — и теперь колдовали над слуховым оконцем, что возвышалось миниатюрным домиком как раз посреди заплаты.

Тот из мастеров, что был в шляпе с обвисшими полями, нырнул внутрь домика и выставил наружу голову — точь-в-точь театральный суфлер.

В этот момент к моему плечу и прикоснулись осторожно. Я обернулся.

— Дмитрий Николаевич, вас к Рукавишникову.

Солнце радужными разводами ослепило меня.

— Да-да, минуточку...

Суфлер из будки подал напарнику новенький лист железа, и напарник, прижав лист к крыше коленом, принялся его разрезать. Лист расходился, словно две шагающие брючины.

— Дмитрий Николаевич... — напомнила Лизунова.

Тем временем Суфлер вылез из своего оконца и с половинкой железного листа приблизился к самому краю крыши, в который впились вползшие по стене змеи черных водосточных труб. И так опасно он на краю стоял, что я боялся взгляд от него отвести, — мне казалось, мой взгляд его удерживает.

— Сколько можно ждать? — раздраженно прикрикнула моя сослуживица.

— Иду-иду, прошу прощения, — заторопился я. Сердце сжалось от дурного предчувствия.

Суфлер качнулся, взмахнул руками... Я подался вперед... Но нет, он устоял и медленно двинулся в гору. Товарищ, оказывается, держал его на привязи и теперь наматывал на руку толстый белый канат.

— Ну и отлично, — облегченно вздохнул я.

И пошел. Сперва по коридору с высокими гулками потолками. По левую руку тянулись казенные, под мореный дуб двери, по правую — большие, чисто вымытые окна. Некоторое время, словно из тамбура движущегося поезда, я еще видел крыши, подсвеченные солнцем облака. Затем свернул на лестницу и поднялся этажом выше. Здесь двери комнат были обиты коричневым дерматином, на окнах висели пышные сборчатые занавесочки, а батареи забраны деревянными решетками.

Нина Павловна вскинула на меня васильковые свои глаза. У нее было красивое, густо напудренное лицо. В ее закуток выходила дверь, обитая уже черным дерматином, с табличкой «Рукавишников Л. Н.».

Нина Павловна нажала клавишу селектора и бесстрастным голосом произнесла:

— Лев Никитич, Дмитрий Николаевич.

Я, не шевелясь, смотрел на треугольничек смуглой красивой ее спины в вырезе темно-синего платья, на ее пышные каштановые волосы.

— Идите же, — сказала она.

Я переступил порог.

Стрижом сорвался с места Лев Никитич и, сделав несколько виражей по кабинету, вновь опустился за свой огромный полированный стол. С его поверхности, наверное, удобно было склеивать просо, но скользко было взлетать.

— Вас? Вызывал? Нет,— сказал он.— Но. Впрочем. Раз. Пришли. К тому же я действительно собирался.

Мебель цвета подсолнечного масла уродовали неаккуратно прибитые металлические бляшки с инвентарными номерами. Меж оконных рам вверх брюшками валялись дохлые мухи,— очевидно, Лев Никитич наловил во время полетов.

Обивка на стульях и диванчике у стены была темно-синей. И галстук у Льва Никитича был темно-синий в серую полоску, а костюм серый, тесно облегавший его сухонькую фигурку.

На белом подоконнике стоял графин с водой. Дно и ближний к окну бок графина от долгого пребывания на солнце затянуло изнутри легкой зеленой замшей. А рядом с графином лежала неровно отломанная ножка стула.

Невольно я покосился на предложенный мне стул.

Лев Никитич перехватил мой взгляд, выбежал из-за стола и тоже посмотрел на стул, а затем на отломанную ножку.

— Да что вы,— забормотал он,— как вы могли? Эта ножка, чтоб закрывать фортку.

Я опустился на самый краешек, и в тот же момент пол полетел на меня, я хотел оттолкнуть его, как волейбольный мяч, но противная желтая мастика оказалась к тому же скользкой...

Мгновенно все пришло в движение. Распахнулась дверь, и появилась Нина Павловна, Лев Никитич подлетел ко мне и клюнул в темечко. Я вскочил и отбежал в другой конец кабинета, придерживая бедную ушибленную руку другой, здоровой.

— Кто бы мог подумать?...— восклицал Лев Никитич и вертел в руках новую отломанную ножку.

— Я, я мог,— твердил я, но они не слушали.

Меня усадили на темно-синий диванчик. Нина Павловна намочила из замшевого графина свой носовой платок и положила мне на лоб компресс, с которого струйки воды потекли за шиворот и в глаза.

Лев Никитич ухватился за больную мою руку. Не